

Баратынскій и Пушкин

(Вокруг старого спора)

Просматривая как-то «Русскій Архив», журнал, к слову сказать, исключительно высокаго культурнаго уровня, — я натолкнулся на давно и хорошо мнѣ извѣстныя полемическія статьи В. Брюсова, посвященныя весьма интересному историко-литературному вопросу, не получившему, к сожалѣнію, до сих пор окончательнаго разрѣшенія. Статьи Брюсова невольно привели мнѣ на память знаменитое опредѣленіе Ницше. Рѣдкую, мало кому присущую способность к равновѣсному неторопливому внѣдренію во всѣ поры и складки художественнаго произведенія нѣмецкій мыслитель назвал «искусством медленнаго чтенія». Опредѣленіе Ницше утвердилось на всѣх европейских языках и было усвоено многими, отчего, разумѣется, нисколько не увеличилось число людей, дѣйствительно способных всесторонне запоминать и постигать внѣшній и внутренній смысл, форму и содержаніе художественных твореній. Искусством медленнаго чтенія попрежнему владѣют немногіе. У нас в Россіи всецѣло обладали им, пожалуй, только Пушкин, Баратынскій, князь П. А. Вяземскій и позднѣе — Иннокентій Анненскій, давшій нам в своих двух «Книгах отраженій» образцы того, как надо читать русских классиков.

Брюсов, при большом трудолюбіи, был все же читателем, далеким от совершенства. Но, не лишенный от природы интуитивности, он умѣл иногда заострить трудный историко-литературный вопрос, никогда не доводя его до полнаго разрѣшенія. Полемическія статьи Брюсова, напечатанныя в «Русском Архивѣ», за 1900 и 1901 годы, посвящены выясненію взаимоотношеній Пушкина и Баратынскаго. Эти статьи нашумѣли в свое время в литературных кругах, но не дошли до широкой публики. А жаль, ибо давно пора нам заняться, хотя бы в изгнаніи, жизнью и творчеством русских великих людей!

В 1900 году нѣкто Иван Щеглов напечатал дилетантскую статью, в которой голословно, вопреки очевидности, утверждал, что будто бы Баратынскій всегда завидовал Пушкину, и что, якобы, Пушкин, в свою очередь, уличил завистника, списав с него своего Сальери. Грубое, ни на чем не основанное утверженіе Щеглова вызвало со стороны Брюсова исчерпывающее возраженіе, найти которое было, в сущности, очень не трудно. Доказывать серьезно, что никогда и ни при каких обстоятельствах Баратынскій Пушкину не завидовал, значило бы ломиться в открытыя двери. «Самое понятіе о зависти, — справедливо писал Брюсов, — как-то неумѣстно, когда рѣчь идет о двух истинных поэтах... Думать иначе — значит обличать свою собственную мысль, слишком привыкшую искать во всем грязных и низких побужденій».

Отношеніе Пушкина к дарованію Баратынскаго было неизмѣнно восторженнымъ. В продолженіи всей своей жизни, в юношеских наброскахъ, письмахъ, замѣткахъ, в стихахъ и, наконецъ, в большой статьѣ, Пушкинъ отзываясь о Баратынскомъ чрезвычайно хвалебно, отводитъ ему, какъ поэту, первое мѣсто вездѣ и сравниваетъ его в письмѣ къ Ивану Кирѣевскому съ великими голландскими мастерами. А въ отношеніяхъ Баратынскаго къ Пушкину жила, наряду съ восхищеніемъ, суровая, неустанная требовательность. Свое основное воззрѣніе на великаго поэта онъ высказалъ однажды в письмѣ: «иди и довершай начатое, ты, въ комъ поселился Геній,» — писалъ Баратынскій Пушкину, — «возведи русскую поэзію на ту ступень, между поэзіями всѣхъ народовъ, на которую Петръ Великій возвелъ Россію между державами. Соверши одинъ, что онъ совершилъ одинъ, а наше дѣло, признательность и удивленіе». В другомъ своемъ письмѣ къ Пушкину, Баратынскій говоритъ: «Я пишу къ тебѣ съ тѣмъ затрудненіемъ, съ какимъ обыкновенно пишутъ къ старшимъ».

А вѣдь онъ былъ моложе Пушкина всего лишь на восемь мѣсяцевъ!

Все это не мѣшало Баратынскому свободно и порою строго судить поэтическія творенія Пушкина. Говоря о «Евгеніи Онѣгинѣ», онъ отмѣчаетъ черезчуръ явную, по его мнѣнію, формальную зависимость этой поэмы отъ «Дон Жуана» Байрона. Сказки Пушкина, въ частности «Царя Салтана», Баратынскій не очень любилъ, находя въ нихъ не до конца преодоленную самостоятельнымъ творчествомъ сырую простонародную основу. Нерѣдко случалось также Баратынскому винить Пушкина въ легкомысленномъ поведеніи, но неизмѣнно видѣлъ онъ въ немъ величайшаго русскаго поэта. Смерть Пушкина, пережитая Баратынскимъ, какъ личное страшное несчастье, заставляетъ его вспомнить слова Феофана Прокоповича на погребеніе Петра Великаго: «Что мы сдѣлали, Россіяне, и кого погребли!»

Браться за перо всего лишь съ цѣлью опровергать праздыя домыслы Щеглова было бы для знатока русской поэзіи несерьезнымъ дѣломъ. И потому Брюсовъ не ограничился въ своихъ статьяхъ легкой полемикой, но, воспользовавшись случаемъ, постарался отыскать въ письмахъ и особенно въ творествѣ Баратынскаго слѣды подлинныхъ отношеній поэта къ Пушкину. В ходѣ своихъ изысканій Брюсовъ показалъ безспорное изслѣдовательское чутье, попалъ интуитивно на вѣрный путь, но по досадному недосмотру, лишилъ себя возможности завершить вполне убѣдительно предпринятое дѣло.

Цѣль настоящаго очерка установить, къ кому именно обратился Баратынскій со стихотвореніемъ, заглавіе котораго впоследствии трижды мѣнялось и вплоть до нашихъ дней порождало споры недостаточно внимательныхъ изслѣдователей. Рѣшить, къ кому обращался Баратынскій со спорнымъ стихотвореніемъ, значило бы одновременно выяснить очень важный моментъ въ его отношеніяхъ къ Пушкину. Приводимъ эти стихи полностью:

**

Не бойся ѣдкихъ осужденій,
Но упоительныхъ похвалъ:
Не разъ въ чаду ихъ мощный геній
Сномъ разслабленья засыпалъ.

Когда, довѣрясь их измѣнѣ,
Уже готов у моды ты
Взять на вѣнок своей Каменѣ
Ея тафтяные цвѣты, —

Прости, я громко негодую,
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебѣ на лавровый вѣнок.

Когда по ребрам крѣпко стиснут
Пегас удалым сѣдоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

В первой книгѣ журнала «Благонамѣренный», вышедшей в январѣ 1926 года в Бельгии, Модест Гофман, вступая в волюющее противорѣчье с прежними своими, болѣе счастливыми, предположеніями, писал:

«Такова сила внушенія, что эта пьеса, вплоть до академическаго изданія, во всѣх изданіях сочиненій Баратынскаго печаталась под заглавіем «А. С. Пушкину» между тѣм, как **во всѣх современных копіях жены** поэта Ан. Л. Баратынской стихотвореніе озаглавлено «А. Н. М.», т. е. Андрею Николаевичу Муравьеву, ученику Баратынскаго в поэзи: не «наставнику и пророку», Пушкину, указывает Баратынскій с укоризной на лавровый вѣнок и дѣлает ему наставленіе, а «наставник и пророк» Баратынскій дает наставленіе юному начинающему поэту, своему ученику А. М. Муравьеву».

Трудно сказать, для чего, собственно, понадобилось М. Гофману тщетно и бездоказательно опровергать себя самого. Вот что напечатано в 1914 году в первом томѣ сочиненій Баратынскаго под редакціей и с примѣчаніями М. Гофмана:

«К ** («Не бойся ѣдких осужденій»). Посмертными изданіями сочиненій Баратынскаго этому стихотворенію дано заглавіе «А.Н.М.», хотя и прибавлено в примѣчаніях изданія 1884 года, что правильнѣе было бы отнести его к А.С.П. (т. е. к Пушкину). Остается открытым вопрос — к кому обратился поэт с этим стихотвореніем. За Муравьева говорит: 1) тон наставленія, 2) почти полное совпаденіе времени выступленія Муравьева на литературную дѣятельность с временем написанія этого стихотворенія и 3) то, что почти **во всѣх копіях** А. Л. Баратынской стихотворенію дано заглавіе «А.Н.М.»; с другой стороны, выраженіе «наставник и пророк» мало примѣнимо к начинающему поэту и гораздо болѣе умѣстно по отношенію к Пушкину, которому Баратынскій приписывал желаніе приноровиться к публикѣ, брать у моды на вѣнок своей Каменѣ «ея тафтяные цвѣты», и кромѣ того вряд ли Баратынскому нужны были ширмы трех звѣздочек, если бы рѣчь шла дѣйствительно о Муравьевѣ».

Мнѣ уже доводилось однажды указывать Модесту Гофману на волюющую противорѣчивость его заявленій. Посмотрим, однако, можно ли допустить, что именно к А. Н. Муравьеву обращался со своим стихотвореніем Баратынскій и, если нельзя, то к кому же оно собственно относится.

Достоверно известно вот что: 1) стихотворение «Не бойся ѣдких осуждений» написано в ноябрь 1826 года; 2) впервые напечатано в мартъ 1827 года под заглавием «К *»; 3) не во всѣх, и не в современных, как утверждает Модест Гофман, а почти во всѣх позднѣйших копіях жены поэта оно озаглавлено: «А.Н.М.»; 4) во всѣх посмертных изданіях сохраняется, вопреки заявленію Модеста Гофмана, заглавіе «А.Н.М.»; 5) в изданіи 1884 года сын поэта оговаривается, что стихотворение это «по болѣе достоверным источникам слѣдует озаглавить «А.С.П.».

Я утверждаю, вслѣд за Брюсовым, что стихотворение Баратынского «К *» никакого отношенія к А. Н. Муравьеву не имѣет, а относится к Пушкину.

Прежде всего, Баратынскій никогда и ни при каких обстоятельствах не мог называть самого себя наставником и пророком, — это противорѣчило бы тону и стилю всѣх его твореній и извращало бы его человѣческой лик. Лѣтом 1826 года Баратынскій пишет Пушкину в село Михайловское: «Вниманіе твое к моим стихотворным бездѣлкам заставило бы меня много думать о них, ежели бы я не знал, что ты столь же любезен в своих письмах, как высок и трогателен в твоих стихотворных произведеніях».

В 1828 году он говорит в стихотвореніи «Муза»: «Не ослѣплен я музою моею; красавицей ее не назовут». В 1835 году Баратынскій возвращается к «Музѣ» и, уточняя смысл ея заключительных строк, прибавляет, что можно скорѣе, чѣм ѣдким осужденіем, почтить его поэзію небрежной похвалой.

Князь П. А. Вяземскій говорил о Баратынском, как об обладателѣ «раздробительнаго ума», который долго нужно было буравить прежде, чѣм добиться от поэта откровеннаго разговора. Мы знаем из твореній Баратынскаго, как ненавидѣл он «бесѣду распашную».

И вот, вдруг, замкнутый, сосредоточенный в себѣ, на рѣдкость скромный Баратынскій распахивает душу перед двадцатилѣтним юнцом (Муравьев родился в 1806 году), громко негодует по поводу полуграмотных, дѣтских, еще нигдѣ не напечатанных стихов, мелодраматически указывает ему на лавровый вѣнок и называет себя наставником и пророком.

Как можно повѣрить этому!

«Таврида» — книга стихотвореній А. Н. Муравьева вышла в 1827 году: это было первое печатное выступленіе юнаго поэта.

В 1827 году в «Московском Телеграфѣ» появился извѣстный отзыв Баратынскаго о «Тавридѣ». Цѣлых пять мѣсяцев отдѣляет стихотворение «К *» от отзыва на первый стихотворный опыт Муравьева. Но никто из историков литературы не отнесся с достаточным вниманіем к единственной критической статьѣ, написанной Баратынским. Даже В. Брюсов интуитивно шедшій вѣрной дорогой, обнаружил в данном случаѣ свое неумѣніе владѣть искусством медленнаго чтенія. А между тѣм, одна многозначительная фраза, брошенная Баратынским, помогла бы В. Брюсову неизбежно утвердиться в своих догадках и заставила бы его оппонентов уступить и замолчать.

Баратынскій пишет: «ежели мы прибавим, что в поэмѣ г. Муравьева нѣтъ ни одной строфы, от начала до конца написанной исти-

но хорошими стихами, достоинство ея будет весьма невелико. «Таврида», **кажется, первый опыт г. Муравьева**. (Курсив мой. Г. М.).

Баратынский ошибался: первый опыт Муравьева — поэма «Потоп» — так и остался нигдѣ не напечатанным.

Итак, еще въ 1827 году, уже по выходѣ в свѣтъ «Тавриды», Баратынскій ничего опредѣленнаго о поэтических опытах А. Н. Муравьева не знает. Хорошо, подумаешь, учитель!

Баратынскій часто говаривал: «Первые свои опыты поэт должен предавать сожженію, и приносить их в жертву богам». Баратынскій, несомнѣнно отсовѣтовал бы А. Н. Муравьеву выступать печатно с незрѣлыми стихами, но в том-то и дѣло, что он ничего не знал о стихотвореніях Муравьева вплоть до выхода в свѣтъ «Тавриды».

В 1876 году в «Русском Архивѣ» ближайшій родственник и друг Баратынскаго — Н. Путята и генерал С. Сулима помѣстили свои воспоминанія о А. Н. Муравьевѣ, из которых явствует, что Муравьев с 1824 года по 1829 год проживал на югѣ Россіи, в Кіевской губерніи, в Крыму и в Бессараби. «Тавриду» и прочіе свои стихи, вошедшіе в книгу, Муравьев, по свидѣтельству Путяты, написал в самом началѣ 1827 года в Крыму. Путята прямо указывает на Семена Егоровича Раича, как на учителя Муравьева в поэзіи и поминает о литературных вечерах, которые устраивал Раич в Москвѣ в 1819 г., с цѣлью пріохотить к литературѣ своего ученика Муравьева.

Баратынскій с конца 1818 года до середины 1825 года проживал сначала в Петербургѣ, потом в Финляндіи и не мог встрѣчаться с Муравьевым по крайней мѣрѣ до 1829 года, когда Муравьев пріѣзжал в Москву в отпуск, чтобы тотчас же отбыть на Кавказ в армію генерала Паскевича к своему брату, Муравьеву-Карскому.

В 1867 году Муравьев печатает свою юношескую трагедію «Битва при Тиверіадѣ», написанную в 1827 году и в предисловіи упоминает о помѣтках сдѣланных рукою Жуковскаго на рукописи этой трагедіи. В предисловіи Муравьев говорит и о Пушкинѣ, «принимавшем живое участие в моих литературных начатках», но о Баратынском Муравьев не говорит там ни слова.

Из всего сказаннаго, становится ясным, что А. Н. Муравьев учеником Баратынскаго никогда не был и быть не мог, пріурочивать к Муравьеву спорное стихотвореніе Баратынскаго — недопустимо, и слова «наставник и пророк» не только неудобно, как говорит В. Брюсов, относить к самому автору, но и невозможно этого сдѣлать, не исказив челоѣческой и поэтической лик Баратынскаго — воплощенную скромность.

Кого же, в таком случаѣ, называл Баратынскій «наставником и пророком»?

II.

Прогрессивно настроенные русскіе интеллигенты, создатели нашего «общественнаго мнѣнія» и свирѣпой революціонной цензуры, всегда любили жалкія слова и потому именовали «ссылкой», чуть ли не каторгой любовныя отеческія мѣры, принятыя Императором Александром I для спасенія Пушкина от окончательной духовной гибели. Свое праздное, порочное существованіе в Одессѣ и Кишиневѣ сам поэт опредѣлил впослѣдствіи как «безумство гибельной свобо-

ды». К счастью Россіи, одесскіе забавы и пиры внезапно оборвались для Пушкина послѣ его извѣстнаго письма о нѣкоем англичанинѣ-атеѣ, — уничтожающем по пути «и без того слабья доказательства безсмертія». В зрѣлые годы Пушкин со стыдом вспомнил об этом письмѣ, называя его легкомысленным и глупым. Но в часы одесскаго «безумнаго веселья» оно, вѣроятно, казалось ему остроумным, держающим и ослѣпительно новым. О письмѣ узнал Император Александр I и Пушкину пришлось разстаться с Одессой навсегда и окольными путями, заранѣе начертанными волею царя, пробираться, минуя крупные города, в отцовское помѣстье, в село Михайловское Псковской губерніи. Длительное михайловское уединеніе спасло в Пушкинѣ и человѣка и поэта, оно помогло ему нѣсколько одуматься и приучило к упорному труду.

Уже не в первый раз спасали царскія заботы силу и славу русской поэзіи: одновременно с Пушкиным суровую школу жизни проходил Баратынскій, искупавшій, по желанію царя, свое темное своеволие солдатской службой «посреди печальных скал, под финским небосклоном».

По истеченіи долгомѣсячнаго испытанія, в мѣру труднаго для Баратынскаго, и слишком легкаго для Пушкина, поэты встрѣтились в Москвѣ осенью 1826 года.

Недавно вступившій на престол император Николай I повелѣлъ в ту пору доставить Пушкина из села Михайловскаго, на перекладных с фельдъегерем прямо в кремлевскій дворец. 8 сентября 1826 года Пушкина привезли в Москву. В ту же ночь, с глазу на глаз бесѣдовал он с царем, счел себя окончательно прощенным и с прежним неукротимым буйством приступил к веселью и пирам. Его литературный успѣх осенью этого года достиг размѣров небывалых дотоле в Россіи. А склонность к тщеславію в Пушкинѣ, мы знаем, была чрезвычайно большою. Невольно вспоминаются слова Пушина: «Пушкин часто сердил меня и вообще всѣх нас тѣм, что любил, напримѣр, вертѣться у оркестра, около знати, которая с покровительственною улыбкою выслушивала его шутки и остроты. Случалось из кресел сдѣлать ему знак, он тотчас прибѣжит, говоришь, бывало, что тебѣ за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Смотришь, Пушкин опять с тогдашними львами!»

Так поминает Пушин юнаго поэта, едва успѣвшаго выйти из лица. Правда, по собственному стихотворному признанію Пушкина, сѣвер был ему вреден. Но развѣ болѣе осмотрительно вел он себя на югѣ, в Одессѣ и Бессарабіи? И как же должен был он соскучиться в уединеніи, в селѣ Михайловском, лишенный городского шума, движенія, толпы!

Строгій к себѣ и другим, хоть и отзывчивый, но замкнутый, женатый и остепенившійся Баратынскій ожидал послѣ долгой разлуки встрѣтить другого Пушкина. И вдруг он видит все того же подвижного, безмѣрно тщеславнаго и самолюбиваго молодого человѣка, всуе, как ему казалось, расточающаго свой великій дар перед праздною толпою. Что же мог подумать и сказать Баратынскій? Вѣдь если позднѣе, в 1828 году, были у него вѣскія основанія безкорыстно предупреждать Мицкевича: «не подражай: своеобразен гений и собственным величіем велик...», то с тѣм большим правом обратился он

въ ноябрь 1826 года к своему «наставнику и пророку» Пушкину, упрекая его в тщеславной готовности «взять на вѣнок своей Камень тафтяные цвѣты» скоро-проходящей моды.

Эти стихи Баратынскій озаглавил в печати тремя звѣздочками, но по смерти поэта почти во всѣх копіях, сдѣланных рукою его жены, заглавіе из трех звѣздочек уступает мѣсто инициалам «А.Н.М.».

В началѣ этого очерка мнѣ удалось доказать, что эти стихи ни в коем случаѣ не могли быть обращены к начинающему стихотворцу Андрею Николаевичу Муравьеву. Не слѣдует также относить их к Адаму Мицкевичу, ибо этого польскаго поэта Баратынскій в 1826 году знал очень мало и не стал бы называть своим наставником. Кромѣ того, у жены Баратынскаго не было бы оснований, двадцать лѣтъ спустя, все еще не называть имени Мицкевича полностью. А постараться скрыть под чужими неопредѣленными инициалами, что стихотвореніе это в дѣйствительности обращено к Пушкину, Анастасія Львовна Баратынская несомнѣнно могла. На это имѣлись у нея серьезныя причины. Пушкина она лично недолюбливала, как, впрочем, всѣх пріятелей Баратынскаго. Ревнивая жена, она старалась отдалить мужа от прежних знакомств и холостых привычек. И под ея вліяніем Баратынскій не раз мѣнял и заново пересматривал свои и без того сложныя отношенія к Пушкину и Ивану Кирѣевскому. Умная и по существу очень добрая, Анастасія Львовна должна была испытывать по смерти обоих поэтов нѣкоторые упреки совѣсти. Она справедливо считала себя главной виновницей охлажденія, наступившаго в их отношеніях в послѣдніе годы жизни Пушкина. Вдобавок, слѣдуя завѣту Баратынскаго никогда не посвящать біографов в подробности его личнаго существованія, она поставила над стихами, явно обращенными к Пушкину, невѣрные инициалы.

Итак, нам остается безусловно довѣриться сыну Баратынскаго, утверждавшему в 1884 году, что именно Пушкина, а ни кого-нибудь другого упрекал поэт в готовности служить модѣ. Ни наставительнаго тона, ни малѣйшей рѣзкости в обращеніи Баратынскаго к Пушкину отмѣтить нельзя, но трудно уловимый оттѣнок ложнаго пониманія личности Пушкина есть в самом звучаніи этого стихотворенія.

Современники не до конца понимали великаго поэта. Недаром И. С. Тургенев упрекнул впоследствии Баратынскаго в недооцѣнкѣ генія Пушкина. Однако, Тургенев не знал еще, что мнѣніе Баратынскаго о Пушкинѣ не стояло тогда особняком. Письма Языкова и Хомякова от 1837 года неопровержимо свидѣтельствуют, что мнѣніе о Пушкинѣ, как о человѣкѣ легкомысленном и тщеславном, раздѣлялось умнѣйшими и одареннѣйшими людьми того времени.

В стихотвореніи 1826 года Баратынскій совѣтует «наставнику и пророку» Пушкину бояться не «ѣдких осужденій, но уопительных похвал» и «громко негодует», укоряя его в измѣнѣ поэтическому призванію в угоду черни. Сопоставив с этими стихами нѣкоторыя замѣчанія о Пушкинѣ, разсѣянные в болѣе поздних письмах Баратынскаго, убѣждаешься, что его сомнѣнія в художественной мудрости великаго поэта усиливались и как бы находили в себѣ с годами все большія подтвержденія. Хвалы Пушкину, уже довольно сдержанныя в письмѣ к нему от 1828 года, совершенно исчезают из

писем Баратынского до 1837 года, когда, сраженный смертью поэта, он снова горячо и безпристрастно пересматривает его безцѣнное поэтическое наслѣдіе.

Ища в творествѣ Баратынского слѣдов его отношеній к Пушкину, Брюсов обратил вниманіе на любопытнѣйшую, третью от конца строфу поэмы «Осень».

Первоначальный набросок этой поэмы сдѣлан Баратынским в началѣ 1837 года. Он пишет о ней князю Вяземскому: «Препровождаю вам дань мою «Современнику» — извѣстіе о смерти Пушкина застало меня на послѣдней строфѣ этого стихотворенія. Брошенную на бумагу, но далеко не законченную, я надолго оставил мою элегію. Многим в ней я теперь недоволен».

Вот необходимая нам строфа в ея первоначальном видѣ:

Вот буйственно несется ураган,
И лѣс подьметъ говор шумной,
И пѣнится, и ходит океан,
И в берегбьет волной безумной:
Так иногда толпы лѣнивый ум
Из усыпленія выводит
Глас, дикій глас, вѣщатель общих дум,
И страстный отзыв в ней находит.
Но высшаго понятія глагол
Дол носится не отзываясь дол.

В 1841 году Баратынскій, по своему обыкновенію, снова возвращается к «Осени», вносит в нее значительныя измѣненія и между прочим так уточняет и проясняет не совсѣм прозрачный смысл двух заключительных стихов приведенной мною строфы:

Так иногда толпы лѣнивый ум
Из усыпленія выводит
Глас, пошлый, глас,
Вѣщатель общих дум,
И **звучный** отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

Первые варианты этой строфы написаны цѣликом до смерти Пушкина и ясно, что лишь к себѣ и к своей поэзіи мог относиться Баратынскій два послѣдніе стиха.

В 1841 году он возвращается к передѣлкѣ «Осени», руководствуясь лишь эстетическими требованіями поэта, желающаго уточнить в словах прозрѣніе, постигшее его в началѣ 1837 года: в этом сказалась его предѣльная художественная требовательность к себѣ — и только!

Так невозвратно отпадает предположеніе Модеста Гофмана, увѣряющаго нас, что строки:

**Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел,**

Баратынский относился не к себѣ, а к Пушкину. Зато весьма правдоподобна интуитивная догадка Брюсова, утверждавшего, что под «ураганом» и «пошлым гласом» Баратынский разумѣл поэзию Пушкина. И напрасно пытался Модест Гюфман отнести «ураган» и «пошлый глас» к Бѣлинскому, котораго Баратынский дѣйствительно глубоко презирал. С Бѣлинским и его окруженіем поэт в 1842 году раздѣлался кратко и вразумительно:

Кого толкнул души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый,
Но подо мной сокрытый ров изрыв,
Свои рога вѣнчал он грозной славой.

В 1846 году, Плетнев, ближайшій друг Баратынскаго, исходя из личной бесѣды с поэтом, состоявшейся в 1843 году, пишет Гроту: «У Баратынскаго «сокрытый ров» означает разныя пакости, которыя дѣлали ему юные литераторы... «Свои рога» есть живописное изображеніе глупца в видѣ рогатой скотины».

Послѣ столь выразительнаго поясненія Плетнева, с особой убѣдительностью звучат доводы Брюсова, полагающаго, что стихи Баратынскаго об ураганѣ, приводящем в движеніе цѣлый океан, не могут относиться к лицу сравнительно незначительному, к второстепенному дарованію, как, напримѣр, к Кукольнику, который как раз в то время пользовался нѣкоторым успѣхом. Но еще меньше оснований относить их к Бѣлинскому - глупцу в видѣ рогатой скотины, по мѣткому опредѣленію Плетнева и Баратынскаго.

«Тогда, — спрашивает Брюсов, — к кому же отнести эти стихи, как не к Пушкину?». И пусть не смущает скептических изслѣдователей «пошлый глас» в примѣненіи к великому поэту, ибо в началѣ девятнадцатаго вѣка слову «пошлый» оскорбительнаго значенія, никто не придавал; «пошлый глас» означал тогда — ходкій голос, общеизвѣстный голос. С. Т. Аксаков в «Семейной хроникѣ» вспоминает, как он, уѣзжая в деревню благодарил директора гимназіи: «Я поблагодарил его довольно пошло», т. е. общепринято.

Слово «пошлый» Баратынский понимал чрезвычайно своеобразно. Вообще всѣ эпитеты Баратынскаго всегда раскрывают зоркому читателю новый, неизвѣданный мір и потому нельзя искать в них налета обыденности. Поэту, сознание котораго перешло за порог «чувственных примѣт», все земное казалось «пошлым», извѣданным. Явленія юдольнаго міра всѣ были вѣдомы ему. Баратынский прівѣтствовал «безжизненную весну» и с великим нетерпѣніем ждал «весны несрочной». Он воспѣл лунную женщину, не будившую нас «как солнце к мятежным суетам». Для Баратынскаго — блистательна тѣнь, она для него «сладогостнѣй и тѣлеснѣй живых». Земной мір, воспринимаемый нами, как живой, для Баратынскаго давно умер и нынѣ «позлащает свой безжизненный скелет». Земная жизнь, в тѣх красках, в каких видим ее мы и великій выразитель наших чаяній — Пушкин, в сокровенныя минуты представлялась Баратынскому пошлой, непристойной. Достаточно вспомнить один из его мало извѣстных вариантов, чтобы окончательно убѣдиться в этом. Поэт, воспѣвая «свѣтозарную красу» — смерть, говорит об умирающем:

И краски жизни безпokoйной
С их невоздержной пестротой
Вдруг замѣняются пристойной
Однообразной бѣлизной.

Мою мысль легко понять превратно; мнѣ слышится: как, Баратынский был хулителем жизни? — О, нѣтъ! Но мировоспріятіе этого непонятнаго нами поэта было инопланнным мировоспріятію Пушкина и нашему. Мы неизмѣнно готовы воскликнуть вмѣстѣ с Пушкиным: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

А Баратынский скажет:

Толпѣ тревожный день привѣтен, но страшна
Ей ночь безмолвная, боится в ней она
Раскованной мечты видѣній своевольных.

.....

О, сын фантазіи! Ты благодатных фей
Счастливыи баловень, и там, в заочном мірѣ,
Веселый семьянин, привычный гость на пирѣ
Неосязаемых властей...

То, что принимаем мы за привѣтную дѣйствительность, для Баратынского «грубый призрак», — вот ключ к «пошлomu гласу»!

Георгій Мейер.



ВОЗРОЖДЕНИЕ

« LA RENAISSANCE »

*Литературно-политическія
тетради*

ТЕТРАДЬ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Июль 1956 года

PARIS

73, av. des Champs-Élysées, (VIII^e).

Tél.: ELYsées 06-03.